

Воображаемый нож

Когда мы учились в младших классах, то играли в одну игру. Суть ее заключалась в том, что нужно было зарезать противника воображаемым ножом. Колоть можно было куда угодно, кроме лица. Зарезанный считал до двадцати, а затем воскресал к новой жизни и новой двадцатисекундной смерти. Все перемены напролет мы проводили за вырезанием одноклассников. Резней увлеклись почти все пацаны и даже некоторые девочки. Я был чемпионом в игре, потому что это я ее придумал, и все играли по моим правилам.

Однажды, когда наш класс назначили дежурным по школе, и я с группой пацанов стоял на входе в вестибюль, к нам незаметно подошел директор школы Федор Владимирович — строгий мужик, бывший военный летчик. Наши обязанности заключались в том, чтобы пресекать беготню первоклашек. Но вместо этого мы самозабвенно резали друг друга. Я первым заметил директора и прекратил игру, но одноклассник Генчик его не видел и, воспользовавшись тем, что я опустил руки по швам, предательски зарезал меня. Затем Гена закричал «ура» и поднял руку с воображаемым ножом вверх. Еще бы, ведь он законтачил чемпионка.

Федор Владимирович тут же подскочил к Генке и схватил за шиворот.

— Дай сюда, — строго сказал он и протянул руку.

— Что дать? — испуганно промямлил мой товарищ по игре.

— То, чем ты колешь одноклассников, — нетерпеливо пояснил бывший летчик.

— Но у меня ничего нет, — ответил Генка, оправдываясь.

— А ну, разожми кулак, — не унимался Федор Владимирович.

Гена показал пустую ладонь и глупо улыбнулся.

У директора от удивления полезли на лоб глаза, и он, процедив сквозь зубы: «Вот придурки», — пошел к себе в кабинет. А я тут же приколол Генчика в область печени, заставив заняться арифметикой.

Летом 2014-го Гену зарезали где-то под Горловкой на ДНРовском блокпосту не то анархические элементы, не то украинские патриоты. В новостной ленте мелькнула маленькая фотография распостертого на мешках с песком мертвого ополченца, из глаза которого торчал нож с темной деревянной ручкой.

Незаметная комната

В нашем старом доме была одна маленькая, незаметная комната с крохотным окошком во двор. Она находилась между кухней и спальней. Вход в незаметную комнату закрывался темной плотной шторкой. Лампочка там постоянно перегорала, а миниатюрное окно под потолком пропускало так мало света, что даже днем в длинной узкой комнатке царил полумрак. Однажды, чтобы расширить кухонное пространство, отец сломал стену между кухней и темной комнатой. Кухня стала просторней и темней. Вскоре отец умер и переехал жить в незаметную комнату.

— Как живешь, отец? — спрашивал я отца.

— Ничего живу, хочешь ко мне? — спрашивал меня отец несвойственным ему добрым теплым голосом.

— Уже не хочу, — отвечал я холодно, — узкая комнатка с маленьким окном и низким потолком для двоих будет слишком тесной. Тебе-то и одному, наверное...

— А я не один, нас тут много, очень-очень много. Это самая огромная комната на свете. Здесь так весело и спокойно, только тебя и не хватает.

Тогда я отодвигал шторы и заглядывал в незаметную комнату, и мне тоже становилось весело и спокойно.

Хлебная очередь

В начале 90-х одним из любимых моих детских развлечений было стояние в очереди за хлебом. Я тогда учился в младших классах и гордился обязанностью, возложенной на меня взрослыми. Магазинов в поселке было мало, хлеб привозили один раз — вечером, часам к пяти. Поэтому очередь возникала с обеда, а то и раньше. Придя из школы, я наскоро перекусывал, быстро делал самые простые уроки, брал сумку и деньги и бежал в магазин под названием «Уголек». Очередь там уже начинала собираться, и первым прийти, как я ни старался, никогда не мог. Как правило, первыми всегда стояли старухи, которые приходили за хлебом чуть ли не с самого утра.

Магазин «Уголек» находился на первом этаже, а на пятом, последнем этаже в этом здании жил мой одноклассник Сережа, по кличке Парчос. Он был полноватым парнем и напоминал Портоса из «Трех мушкетеров», за что и получил свое прозвище. Парчос занимал очередь почти сразу за старухами и пропускал меня вперед, благодаря чему я всегда возвращался домой с хлебом. Несмотря на то, что хлеб продавали только по две буханки в руки, всем его не хватало. Тем, кто стоял в хвосте очереди, могло ничего не достаться. Они стояли на свой страх и риск, стояли на всякий случай, стояли для того, чтобы у очереди был хвост, чтобы очередь шумела, гудела, галдела, шевелилась и возмущалась, жила и вожделела. Иначе что же это за очередь?

Поселок был небольшим, и многие друг друга знали если не лично, то хотя бы в лицо. Люди в очереди на несколько часов становились единым организмом с общей идеей, устремлениями, бытием. Теряли пол, профессию, возраст, семейное положение, желали только хлеба, а зрелища приносили с собой. Человек из очереди всегда что-нибудь рассказывал о себе, о родственниках, соседях, о космосе, летающих тарелках, богах, гипнотизерах и об Америке. Романисту, подыскивающему тему для нового произведения, как и юноше, обдумывающему житье, следовало бы постоять в нашей очереди. Они узнали бы о жизни, о времени, о глубинах человеческой психики и психологии все необходимое. Они переписали бы в своей голове всю историю: от сотворения Мира до развала СССР. Потому что после развала история прекратилась, а началось что-то совершенно другое.

Первые старухи знали и любили Парчоса. Он был бесхитростным наивным голубоглазым толстячком с белорусскими корнями, всегда рубил правду-матку, сливая семейные секреты, конфликты с соседями на всеобщее обсуждение. И Парчос отвечал взаимностью первым старухам, знал каждую по имени, где живет, кем работала в молодости и

сколько получает пенсии, на каком кладбище хочет найти последнее пристанище. У Парчоса были дефекты речи, учился он плохо, за глаза его называли придурочным, но в шахматы он играл отменно, а еще любил читать. Любимой книгой его была «Поднятая целина» Шолохова. И это в то время, когда его ровесники еще сидели на Жюле Верне и Кире Булычеве.

Нам не нужны были ни «Дом-2», ни другие постановочные телешоу. Мы сами были интерактивными участниками суперпроекта. И это была не дешевая театральная постановка, а наша поселковая правда. Очередь делала нас счастливыми, а нашу жизнь — интересной. Каждый день я бежал в магазин, подгоняемый нетерпением: что же будет в сегодняшней очереди? Разведется ли швея Маруся с забойщиком Васей? Выйдет ли из запоя слесарь дядя Леня? Спасет ли Иегова от конца света всю Украину, или только Киевскую область? Кружила ли опять ночью летающая тарелка над посадкой в районе шумского террикона? И можно ли в харьковском зоопарке посмотреть на динозавра, воскрешенного гипнотизером Кашпировским? И еще великое множество других жизненно важных вопросов одолевали меня на пути к хлебу.

Возвращался я из магазина тоже всегда бегом. Потому что, если идти медленно, то за десять минут ходьбы до дома можно было съесть полбуханки. Хлеб был обжигающе-горячий, с поджаристой корочкой. Сначала я разрешал себе его понюхать, всего один разок. Потом начинал нюхать и не мог остановиться, вдыхал и выдыхал вкусный, ни с чем не сравнимый, запах, пока не начинала кружиться голова. И тогда я разрешал себе отломить маленький кусочек хрустящей корочки, а затем и горячей мякоти. И пошло-поехало. Хлеб таял во рту лучше всяких «Сникерсов», которые я в ту пору видел только в ненавистой рекламе. Один соседский пацан просто обожал рекламу иностранных шоколадок. Он усаживался перед телевизором во время рекламных роликов, смотрел большими жадными глазами на то, как чужие незнакомые счастливые иностранные люди разламывают и едят шоколадки с разнообразными начинками — орехами, нугой, кокосами, брал шариковую ручку и нервно начинал на нее наматывать волосы возле уха. Однажды волосы так запутались, что соседский пацан не смог достать из них ручку, и его матери пришлось выстричь ему на голове клочок волос, чтобы освободить сына. Я до сих пор вспоминаю об этом, когда вижу или слышу рекламу.

В другие магазины ходить было бесполезно: там были свои первые старухи и не было своего Парчоса. Но справедливости ради скажу, что самыми первыми хлеб покупали все-таки не старухи, а мужчины-добровольцы, вызвавшиеся разгружать хлеб из грузовика. Обычно водитель

хлебной машины выбирал из очереди двоих мужиков покрепче, и они начинали носить широкие одинарные лотки или возить многоярусные лотки на колесиках с круглыми буханками, прямоугольными кирпичиками и продолговатыми батонами. А мы смотрели на них, как завороченные, завидовали и ждали.

Недавно Парчос нашел мою страничку на сайте «Одноклассники».

«Помнишь нашу шумную, умную, стройную, длинную очередь?» — написал мне Парчос.

«Помнишь нашу вкусную, грустную, тесную, честную очередь?» — написал мне Парчос.

«Помнишь наших вечных, увечных, беспечных первых старух?» — написал мне Парчос.

«Они все здесь, приезжай ко мне в Белоруссию!» — написал мне Парчос.

Прочитав это, я бросился к холодильнику и начал мести все подряд.

Любовь несчастливая

У группы «Наутилус» есть песня про колеса любви, которые намаывают всех без разбора: лениных, чингисханов и прочих случайных прохожих. Так вот, в восемнадцать лет меня намотало не на колеса, а на гусеничные траки этой самой любви, размазав по старому раздолбанному асфальту, ведущему к комбинату бывшей шахты имени товарища Ворошилова.

Дело было так. Случайно встреченное малознакомое пьяное тело попросило меня доставить его на самый верхний этаж пятиэтажного дома, поскольку не могло совершить это самостоятельно. Я, как истинный джентльмен, взял тело на руки и отнес оное к требуемой квартире. После чего тело вознамерилось отблагодарить меня и со словами: «Спасибо, мальчик мой», — начало со мной целоваться не как с мальчиком, а по-взрослому.

Признаться, до сего дня меня еще никто так не целовал; если признаться честнее, до сего дня никто не целовал меня вообще. В голове включились радужные мультики, коленки задрожали, и через все существо мое прошло электричество, устремившись сквозь кеды прямо в бетонное перекрытие лестничного марша хрущевки. Завоняло паленой резиной; обгоревшие носки пришлось потом выбросить на помойку.

Когда мультики в голове выключились, туман рассеялся, и при тусклом свете подъездной лампочки я взгляделся в лицо девушки, меня озарило: да Она же красивая! С тех пор я мог думать только о Ней.

А не о Ней думать не мог совершенно. Я стал меньше есть, меньше спать, меньше общаться с друзьями и родными, меньше смотреть телевизор и читать. Вообще, все как-то стало меньше в жизни, а Она — наоборот: росла во мне с каждым днем, и кругом меня Ее становилось тоже все больше и больше.

В хронологическом смысле мы были с Ней ровесниками, но в некоторых других аспектах Она опережала меня на много лет. Между нами разверзлась непроходимая пропасть, и осознание этого вызывало у меня непрекращающиеся болезненные ощущения где-то в области «я» как такового. Мое «я» осунулось, исхудало до прозрачности и пребывало во мраке и в состоянии перманентного горя. Мне каким-то образом было известно, что душа Ее прекрасна, чиста, горда и обижена судьбой точно так же, как у Настасьи Филипповны из романа «Идиот» Ф. М. Достоевского, несмотря на то, что тело в это время любило всяких дяденек, водку и приходило домой под утро.

Я ночами напролет поджидал Ее у подъезда, как верная дворняжка, спрашивая грустным щенячьим взглядом: может, поднести чего? Но Ее подносили теперь другие разные люди. Частенько мы собирались одной компанией с гитарой, и я пел Ей песенки, посвященные Ей. Песенки, посвященные Ей, Ей нравились, и Она даже иногда позволяла проводить себя до подъезда, но поднимать себя на пятый этаж почему-то больше не разрешала.

В начале мая, весь растерзанный переживаниями, я поделился своей бедой с самым близким другом, который был старше меня на десять лет, имел семью с детьми и большой жизненный опыт в налаживании отношений со всякими женщинами. Друг живо заинтересовался моей историей и пришел к нам в компанию, чтобы дать свой вердикт многоопытного мужа, успокоить меня и утешить.

— Да шалава она распоследняя! — успокоил и утешил меня друг. — Как ты вообще на нее повелся? Она же стремная и покрашенная, и не-пкрашенная. Забей на эту лярву, а я тебе нормальную телку мигом зацеплю.

Потом часть компании вместе с Ней и моим другом куда-то отлучилась: не то за пивом в ларек, не то за самогоном на точку. Они долго не возвращались, и я пошел к Ее подъезду посмотреть щенячьими глазами на окно под самой крышей. Уже под утро начался сильный дождь, и вдруг сквозь шум льющейся воды мне послышались голоса и смех. Я отошел под козырек соседнего подъезда и стал выглядывать из-за приоткрытой двери. В свете фонаря я увидел Ее в объятиях моего утешителя. Они были промокшие и счастливые. О чем-то ворковали и целовались, несмотря на то, что утешитель еще не успел внести Ее на руках

на пятый этаж. Целовались авансом, целовались в кредит, целовались, как в последний раз. Затем они вошли в подъезд. Я ожидал, что дружнице сейчас вернется и расскажет, что это у него такой специальный план по спасению меня из лап глупой, дурацкой любви. Но он почему-то все не возвращался и не возвращался. Он вообще, как оказалось, ушел из семьи дальше жить свою взрослую жизнь с Ней.

С рассветом дождь прекратился, и я отправился домой сходить себе потихоньку с ума, ломать стекло, как шоколад в руке, и совершать прочие поступки, соответствующие тогдашнему состоянию моего духа. До сих пор мне казалось, что такое бывает только в книжках. А тут неожиданно сам стал героем дурацкого нарратива, писательской поделки под Достоевщину, причем героем жалким и второстепенным. Еще и перед семьей друга было ужасно неудобно, я себя чувствовал кругом виноватым.

Вопрос разборки и сборки себя заново требовал радикального решения, ибо в таком состоянии существовать было невыносимо. Через пару дней вытья и лазанья на стену я отправился к пивному ларьку, где обычно паслись алкоголики-пенсионеры подземных профессий, пэтэушники разных мастей и студенты горного техникума.

Здесь я встретил бывших своих одноклассников. Они хотели заехать по пиву и соображали на троих.

— Можно я с вами, пацаны? — попросился я робко.

— Ты шо, с дуба рухнул? — удивились они. — Ты ж не пьешь никогда, ни за что и не с кем. Не нарушай равновесия. Если еще и ты за стакан возьмешься, то нашему городку точно кирдык придет, взорвутся терриконы, и завалит все огнем и серой.

— Если вы не научите меня пить, то я начну учиться сам, и у меня может что-нибудь неправильно получиться. Я сломаюсь, как недорезанный робот Вертер, и это будет на вашей совести, раздолбаи, — пригрозил я.

И добавил:

— Меня любовь несчастливая всего иссушила, жажда адская, просто капец.

— Ну, так бы сразу и сказал, — обрадовались пацаны. — Давай тогда по пиву за любовь несчастливую!

И пацаны стали учить меня пить. Пиво было горьким и имело привкус резинового мячика, который я однажды попробовал жевать в детстве. Его манящий яркий цвет обещал целую гамму вкусовых ощущений, но обманул все мои ожидания. От пива в голове зашумело, а тело стало слегка заторможенным, будто я управляю скафандром, который повторяет все мои движения с небольшим опозданием. Любовь несчастливая

оказалась, однако, не внутри, а снаружи скафандра. Она была совсем рядом, но между нами появился, пусть тоненький, но барьер. Это радовало. Пацаны о чем-то оживленно болтали, когда я попросил их усугубить урок чем-то более крепким. Они разом затихли и посмотрели на меня с удивлением и, как мне показалось, даже с уважением.

— Да ты подаешь надежды, — отметил авторитетно один из пациков.

— Если мы сейчас нажремся с самого утра, то до вечера можем и не дожить, — не менее авторитетно заметил другой пацик.

— Надо сперва прошвырнуться по району, подышать свежей угольной пылью, а потом затаримся самогоном, и сядешь у нас за пьяную парту сдавать алкогольный экзамен, — еще авторитетнее заявил самый опытный пацик.

Район слегка вибрировал под ногами, заигрывая с координацией моего тела, которое изо всех сил старалось не поддаваться на подобные провокации. Мы вели себя очень шумно, то и дело перекрикивали друг друга и смеялись над всякими смешными глупостями. Проходя через развалины Парка культуры и отдыха, пацаны достали сигареты, и я взмолился:

— Пацаны, пожалуйста, научите меня еще и курить! Я же, кроме как бренчать на гитаре, совсем ничего не умею в жизни!

Любовь несчастливая ухмыльнулась в это время снаружи скафандра.

— Ты растешь на глазах: так пить хочется, что переночевать негде, — восхитились пацаны и угостили меня сигаретой с фильтром.

Набрав полный рот дыма, я выдохнул его и закашлялся. Пацаны засмеялись:

— Эх, ты, курилка-дурилка, глубже вдыхать надо, чтобы в легкие попало и хорошенько отравило ненавистный организм.

Я снова затаился, и на этот раз у меня получилось лучше. В это самое время с нами поравнялись несколько девушек, среди которых была и Она.

— Ты что, куришь? — спросила Она удивленно.

— Ага, и пьет теперь, как сапожник, — ответили за меня пацаны. — И все из-за одной дыры: ты с ней, наверное, знакома.

Про мои влюбленные завывания с гитарой под окнами пятиэтажки не знал на районе только глухой.

— Из-за меня? — удивилась Она еще сильнее. — Это, конечно, приятно, но прекращай немедленно, дурачок.

В это время любовь несчастливая разбила стекло скафандра и опять забралась ко мне внутрь. Я посмотрел на Нее самым тоскливым взглядом, на какой был способен, и подумал: «Все равно когда-нибудь ты будешь моей: мост между нами я уже начал строить, надо только теперь

научиться пить что-то покрепче и курить не эти дамские сиги, а настоящий мужской табак без фильтра».

Вслух же я произнес как можно надменнее:

— Что хочу, то и делаю. Пошли, пацаны, бухать по-взрослому.

И мы пошли бухать по-взрослому. Но вначале еще прослонялись по району в поисках приключений. Денег у нас было немного, поэтому в целях экономии самогон покупали у тетки, которая продавала пойло дешевле конкурентов, разбавляя его водой и димедролом, или, по-народному, демичем. Торговку так и называли: «Димедролиха». По дороге к самогонной точке я то и дело спрашивал у пацанов:

— Пацаны, а курить нам не пора? А теперь? А сейчас? Когда же уже?

Я купил себе пачку «Примы» без фильтра, но не чувствовал, когда именно наступает момент для курения и очень боялся его пропустить.

— Да ты задолбал уже! Мы же только что курили! — сердились мои пацаны. — Так и пачки на день не хватит.

Потом им становилось меня жаль, и они щелкали зажигалкой. И я радовался, что все-таки успел покурить вовремя, когда надо, а не с опозданием. И поэтому что-то будет еще впереди, обязательно будет.

Бухать мы пришли на спортивную площадку нашей родной школы, расположившись на вкопанных в землю автомобильных покрывах. Шли майские праздники, и в школе никого не было. Площадка тоже пустовала. К моменту распития бухла любовь несчастливая уже грызла всю мою страдающую внутренность, но с первым же пластиковым стаканчиком ее вынесло из скафандра, будто взрывной волной: разбитое стекло было моментально залито толстым слоем эпоксидной смолы, в голову ударило теплом и туманом.

Дальше все происходило, как во сне. Пацаны возбужденно говорили-наливали, говорили-наливали. Я пытался вставить свои пять копеек, но делал это так некстати и с таким опозданием, что начал чувствовать себя не слишком умным и образованным юношей. Чтобы скрыть пробелы в образовании, я стал снабжать речь всякими французскими словечками, которые когда-то учил в школе. Пацаны, однако, очень странно на меня смотрели, будто и не они сидели со мной на соседних партах на уроках французского языка. А вот курили мы вовремя. Словно произошла какая-то синхронизация, и мы одновременно начинали знать, что вот сейчас нужно покурить, а потом курить не нужно совсем до лучших времен.

Когда мы вчетвером приговорили полтаруху димедрольного самогона, почти не закусывая, то перестали быть пацанами, а стали просто телами, рычащими, мычащими, брыкающимися и бодающимися в темноте. Скафандр мой от большой дозы алкоголя с таблетками совсем расплавился, и любовь несчастливая вдруг предстала передо мной в

полный рост. Мне отчаянно захотелось кричать. Я предложил пацанам пойти на пустырь за пятачками и поорать в темноту. Точнее, я что-то промычал, а пацаны в ответ утвердительно прорычали, и мы двинулись в нужном направлении. Район выскальзывал из-под наших ног, подпрыгивал и ловко от нас уворачивался. Тем не менее до пустыря мы кое-как доплелись.

О, как я орал! Я так еще никогда в жизни не орал, у меня даже голос потом пропал на несколько дней. Я орал: «Ля жизнь сетюн полное дерьмо!», «Же вудре бы сдох!», «Пуркуа мне вся эта хренотень!». Пацаны же бессмысленно матерились в темноту, пытаясь подражать моей экспрессии и нерву, но у них выходило одно жалкое эпигонство. Мы орали в бездушную, жестокую ночь, покуда в окнах ближайшей пятиэтажки не загорелся свет, и на балконы не высыпали жильцы, которые тоже начали кричать всякие непотребства, но уже в наш адрес.

Домой я приполз только под утро, чтобы отлежаться и вечером повторить алкогольный подвиг. Таким образом, я провел увлекательную неделю: мы выпивали с пацанами в чужом районе, с кем-то дрались, били окна, ломали заборы, купались в шахтном резервуаре, от кого-то удирали, разбивали на спор пустые бутылки о головы друг друга, как заправские десантники, спали на подъездных лавочках, и много чего еще вытворяли, чтобы жить настоящей полной жизнью, а не жевать сопли, как всякие там Ромео.

Через неделю я свалился с сердечным приступом и провалялся дома, глотая пачками валидол. На кровати мне становилось почему-то совсем хреново, и я лежал на полу, подстелив матрац. А через три дня восстал, как Лазарь, но уже другим человеком. Будто за это время во мне произошла перезагрузка. Нельзя сказать, чтобы я тогда полностью излечился от любви несчастливой, но она перестала быть для меня чем-то жизненно важным. Ну, живет где-то с кем-то — и хорошо. Есть вещи гораздо более важные и увлекательные. Пацанов моих только жалко: они очень расстроились, узнав, что я больше не пью.